

И. И. Иванов

**Александр Островский. Его
жизнь и литературная
деятельность**



Жизнь замечательных людей

И. И. Иванов

**Александр Островский.
Его жизнь и литературная
деятельность**

«Public Domain»

Иванов И. И.

Александр Островский. Его жизнь и литературная деятельность / И. И. Иванов — «Public Domain»,
— (Жизнь замечательных людей)

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся `для простых людей`, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ГЛАВА I. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОСТРОВСКОГО	8
ГЛАВА II. НАЧАЛО ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	11
ГЛАВА III. ДРУЗЬЯ И ВДОХНОВИТЕЛИ ОСТРОВСКОГО	14
ГЛАВА IV. МИРОСОЗЕРЦАНИЕ МОЛОДОГО ОСТРОВСКОГО	17
ГЛАВА V. ПЕРВАЯ КОМЕДИЯ	20
Конец ознакомительного фрагмента.	21

И. И. Иванов

Александр Островский. Его жизнь и литературная деятельность

*Биографический очерк И. И. Иванова.
С портретом А. Н. Островского, гравированным в Лейпциге
Геданом.*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Скудость и неопределенность биографических сведений — обычное явление в русской литературе относительно как мелких, так и крупных писателей. Русские читатели нередко бывают свидетелями самых невероятных приключений, постигающих отечественную печать. Особенно должны быть памятливы случаи, связанные с недавней пятидесятилетней годовщиной смерти Лермонтова. Во множестве “юбилейных” воспоминаний и биографических очерков беспрестанно встречались недоразумения и ошибки, казалось бы, совершенно невозможные в работах о поэте, жившем столь недавно. Родственник и товарищ Лермонтова, предпринимая исправление чужих ошибок, обнаружил поразительное неведение самых существенных биографических данных — не знал ни места, ни времени рождения поэта. Другой биограф сумел запутать исторически подлинный рассказ об обстоятельствах смерти Лермонтова. К сожалению, полвека, протекавшие со времени кончины гениального поэта, не устранили окончательно отечественной варварской литературы. И подобные факты, в представлениях русского читателя, могут сопутствовать едва ли не каждому деятелю русской словесности.

У нас почти не прививается обычай, столь распространенный на Западе. Там в распоряжении литературных и общественных историков имеется неисчерпаемый запас всевозможных воспоминаний, записок, сообщений, касающихся всех более или менее значительных явлений прошлого. Почитатели и близкие люди даже второстепенных талантов непременно стремятся поведать публике историю своего знакомства с замечательным человеком, передать современникам и потомству его характеристику, даже мельчайшие подробности его жизни. И сами знаменитости не страдают излишней скромностью. Они весьма охотно разрабатывают свои биографии и в чисто художественных произведениях, и в откровенных беседах о своей жизни. Они, кроме того, весьма часто оставляют после себя своего рода эстетические завещания — с подробным и всесторонним выяснением своих художественных стремлений и писательских задач. И западная публика располагает громадным запасом автобиографий и поэтических исповедей, составляющих наследство гениальных художников и просто талантливых писателей.

Совершенно иначе обстоят дела в русской литературе. Как ее первостепенные представители относились и в большинстве случаев продолжают относиться к опубликованию своих биографий и вообще сведений о себе, показывает пример Тургенева. Неоднократно в течение всей его жизни к нему обращались с запросами насчет биографических данных. Каждый такой запрос не вызывал в нем приятных чувств, и он заявлял: “Откровенно говоря, всякая биографическая публикация мне всегда казалась великой претензией”. И Тургенев решался давать только самые общие, почти исключительно хронологические данные о своей жизни.

Так же поступал и Писемский, – например, в биографическом отрывке, разрывающем до последней степени сухие рамки повествования. От большинства других русских писателей не осталось и таких скудных материалов. Не поусердствовали возместить эту скудость и их современники, с которыми они находились в близких отношениях. И биографу русского писателя, как бы ни была свежа в памяти живущего поколения его личность и деятельность, приходится на каждом шагу мириться с обширными фактическими пробелами и крайней отрывочностью самих фактов.

Участь Островского в этом отношении едва ли не самая печальная. Со дня его смерти протекло почти тринадцать лет. Он давно признан великим драматическим талантом, наряду с Гоголем и Грибоедовым. Его решено почтить памятником по всероссийской подписке. Многие его произведения стали классическими и столь же необходимыми в воспитании и просвещении русского юношества, как, например, сочинения Пушкина. И все это произошло на глазах того самого поколения, которое знало Островского лично, переживало развитие его таланта, сопутствовало росту его славы. И в результате – у блестящего и современного нам писателя до сих пор нет биографии.

Правда, жизнь Островского извне прошла в высшей степени ровно и спокойно. Она не знала никаких исключительных происшествий и потрясений, не расцвечена яркими драматическими красками, в ней не имеется каких-либо сложных психологических или загадочных романических эпизодов. Жизнь драматурга соответствовала характеру его произведений – в высшей степени уравновешенному, почти эпическому.

Но внешняя одноцветность и размеренность существования далеко не свидетельствуют о бессодержательности и отсутствии внутреннего смысла. Совершенно напротив. Вся энергия богато одаренной природы ушла именно на обогащение и углубление этого смысла. Художник обладал необыкновенным нравственным чувством, воспринимая внешний мир и отзываясь на впечатления художественным творчеством.

Именно у писателя-реалиста эти восприятия должны быть особенно обильны и глубоки. Каждое его произведение навеяно и внушено явлениями действительности. Каждое лицо, им созданное, – плод непосредственных наблюдений, и драматизм положений его героев почерпнут из многообразных житейских драм, психологически изученных и творчески воспроизведенных. Легко представить, какое значение имеет иная даже случайная встреча писателя с историей человеческой жизни, фактом общественного устройства, вообще все многообразие повседневных впечатлений.

Все это относится и к Островскому. Он по самому содержанию своего творчества, основанному на русском быте и типических характерах, должен был на каждом шагу иметь дело с *подлинниками*, то есть с живыми яркими лицами, своей самобытностью одушевлявшими его ум и талант. И мы знаем, какими сокровищами психологии и драмы обязан Островский личным знакомствам и встречам, – но знаем, к сожалению, крайне недостаточно. Более или менее подробные наши сведения касаются только раннего периода деятельности Островского, – и уже по этим сведениям мы можем судить о богатстве *духовной* жизни писателя, о неразрывной связи его творчества с окружающим миром. Эта связь не прекращалась до конца, и именно она сохранила за Островским одно из первых мест в новой русской литературе. Но у нас нет достаточных данных, чтобы проследить ее исторически и всесторонне оценить ее влияние на нравственный мир художника. Мы не знаем фактов, вызвавших те или другие его творческие шаги, и не можем установить меру его проницательности и то, сколь полно он воспользовался уроками действительности. Ясно, недостаток в наших сведениях должен отражаться и на нашей оценке самого таланта драматурга. *Критика* может быть вполне удовлетворительной и определенной только при тщательно разработанной

Время, несомненно, восполнит много пробелов в биографии Островского. Именно последние годы дают нам право питать эту надежду. С 1897 года в печати стали появляться в

высшей степени ценные сообщения лиц, близко стоявших к покойному писателю. Воспоминания Т. И. Филиппова и С. В. Максимова пролили свет на начало литературной работы Островского и представили правдивую и жизненную картину обстановки, в которой предстояло развиваться этой работе, обрисовали ряд личностей, глубоко повлиявших на молодого писателя. В настоящее время нам известно о первых литературных шагах Островского несравненно больше, чем, например, его биографу А. Е. Носу. Мы теперь определенно можем судить о *среде и обстоятельствах*, оказавших влияние на формирование самих основ его художественного дарования, и в состоянии дать исторически точный ответ на первый и важнейший вопрос в критике произведений Островского: почему наш драматург *начал необыкновенно*, по выражению Тургенева, то есть в первой же пьесе обнаружил небывалое до него знание московского купеческого и народного быта, идеальное умение владеть своеобразным русским языком и воспроизводить с одинаковым художественным совершенством крупные и мелкие черты русской природы?

Драматург, очевидно, прошел известный путь воспитания, внушительную житейскую школу, – и нам его друзья рассказали, какою именно.

Если бы и вся дальнейшая деятельность Островского стала предметом таких же рассказов, его биограф не имел бы оснований жаловаться на трудности и черновую, пробную характер своей работы. Теперь же ему предстоит восстанавливать цельную историю жизни на основании отрывочных заметок, вроде воспоминаний артистов Бурдина, Горбунова и Нильского, рассказов личного секретаря Островского, Кропачева, – живых и правдивых, но касающихся только последних лет его жизни и, кроме того, совершенно оставляющих в стороне Островского-писателя, наконец, на основании собственных писем драматурга. Довольно многочисленны письма к Бурдину и к г-же Мысовской, но они дают очень мало материала для биографии автора и вообще не отличаются содержательностью и обилием личных признаний, столь всегда красноречиво свидетельствующих о настроениях и писателя, и человека. Важнейшим общим биографическим источником остается, конечно, заметка самого Островского в альбоме Семевского “Мои знакомые”, – заметка в высшей степени немногословная, напоминающая краткие послужные списки, какие давали Тургенев и Писемский своим биографам.

Таковыми материалами располагаем мы для биографии Островского. Очевидно, его биография в ее совершенной форме – вопрос будущего. В настоящее время мы в состоянии осветить более или менее ярким светом только некоторые моменты в творческой жизни нашего писателя; насколько возможно при осмотрительном и исчерпывающем пользовании немногочисленными документами, представить более или менее последовательный ход творческой деятельности художника, а также нарисовать по возможности подлинными чертами личность человека.

Мы будем считать нашу задачу выполненной, если от нас не ускользнет ни одно ценное историческое указание и если нам удастся каждому из этих указаний отвести надлежащее место и в результате получить цельное, хотя бы и весьма общее, представление о человеческой и авторской природе одного из знаменитейших русских писателей.

ГЛАВА I. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОСТРОВСКОГО

Семейная обстановка в детстве и первой молодости. – Казенная служба

Предки Островского принадлежали к духовному сословию и были костромичи. Писатель не забывал о своем местном происхождении и при случае любил припомнить нравственные черты, отличающие его земляков. Работая над драматической хроникой *Козьма Захарыч Минин* и разбирая исторические акты, Островский обратил внимание на *рязанский* характер Прокопия Ляпунова и так сравнил этого героя с другим – костромским – Иваном Сусаниным:

– Эти рязанцы по природе уже таковы, что, как немцы, без шуток и с лавки не свалятся. Ведь вот наш костромич, Сусанин, не шумел: выбрал время к ночи, завел врагов в самую лесную глушь, там и погиб с ними без вести, да так, что до сих пор историки не кончили еще спора о том, существовал ли он в самом-то деле на белом свете. А Прокопию Ляпунову понадобилась веревка на шею, чтобы растрогать: и вовсе в этой штуке не было нужды. Актерская жилка у всех рязанцев прирожденная... Первым из родичей Островского переехал в Москву его дед. Он овдовел в сане протоиерея одной из костромских церквей, постригся в московском Донском монастыре и умер в преклонных летах, напутствуемый высоким уважением монастырской братии. Старший из его шестерых детей, Николай Федорович, был отцом знаменитого писателя. Он изменил семейным традициям и, по окончании курса сначала в Костромской духовной семинарии, потом в Московской духовной академии, поступил на гражданскую службу, в канцелярию общего собрания московских департаментов Сената. Двадцати четырех лет, в 1820 году, он женился на дочери просвирни, и 31 марта 1823 года у молодых супругов родился третий сын, названный Александром. Ему шел всего девятый год, когда мать его скончалась и на руках отца осталась многочисленная семья из шести человек малолетних детей.

Воспитанием их раньше занималась исключительно мать: отец был поглощен службой и трудным добыванием средств. По смерти жены он воспитание детей поручил студенту Вифанской семинарии – и этот учитель подготовил Александра Николаевича к поступлению в гимназию. В прошении о принятии сына в число учеников Московской губернской (ныне первой) гимназии отец заявлял, что его двенадцатилетний сын – “по-русски писать и читать умеет и первые четыре правила арифметики знает”. Поступление состоялось в сентябре 1835 года, – и пять лет спустя Островский получил аттестат с правом поступить в университет без предварительного испытания. Александр Николаевич подал прошение о зачислении его студентом юридического факультета.

За это время отец его женился вторично, заслужил дворянское достоинство, выхлопотал внесение своей семьи в дворянскую родословную книгу Московской губернии и в год поступления сына в университет оставил государственную службу и стал заниматься ходатайствами по гражданским делам. Вероятно, это обстоятельство повлияло и на выбор сыном именно юридического факультета. Ни в гимназии, ни в университете Островский не обнаружил выдающихся способностей к науке, в гимназии курс окончил девятым из двенадцати, в университете на первом курсе показал успехи не выше хороших, и уже на втором окончилось ученое поприще будущего драматурга. Островский оставил университет, не подвергаясь переходному испытанию: документально – “ради службы”, в действительности – вследствие недоразумения с одним из профессоров. Ему предстояло теперь проходить

обширную школу жизни, несравненно более ответственную и благодарную для его прирожденных наклонностей. Школа открылась немедленно за порогом университета, – в сущности, последовало только продолжение житейской науки. Островский еще раньше успел познакомиться с ней. Отцовская чиновничья служба и впоследствии адвокатская практика вводили сына в крайне пестрый и своеобразный круг московских нравов. Дореформенная жизнь проходила пред наблюдательным взором юноши во всем богатстве и яркости неприманых героев и фактов. И несомненно, в его воображении с течением времени запечатлевались всё новые фигуры и эпизоды, коими ему предстояло воспользоваться для своих ранних произведений.

В сентябре 1843 года Островский зачислен канцелярским служителем в Московский совестный суд. Учрежденный при Екатерине II, этот суд ведал гражданские дела, причем тяжущиеся по этим делам могли согласиться разрешить свой спор мировым соглашением по совести. Уголовные дела, подлежащие совестному суду, возникали по жалобам родителей на детей, касались преступлений, совершенных малолетними и глухонемыми или вызванных особенно неблагоприятными обстоятельствами. Наконец, вообще все гражданские споры между родителями и детьми обязательно разбирались в совестном суде. Легко представить, сколько сведений даже в короткое время мог приобрести будущий драматург о семейных и общественных условиях народного и купеческого быта. В особенности старая русская семья должна была открыть Островскому множество потаенных уголков своей жизни, почти недоступных наблюдению постороннего человека. Читая жалобы сторон, выслушивая “совестные” показания обвиняемых и обвинителей, молодой чиновник как нельзя более входил в самобытный сокровенный мир простых людей, прислушивался к их речи, всматривался в их нравственные воззрения, запоминал резкие оригинальные черты отдельных личностей, выработанные жестоким семейным и общественным строем дореформенной Руси.

Больше двух лет продолжалась служба Островского в совестном суде; в конце 1845 года он поступает в канцелярию Московского коммерческого суда, по первому отделению – в “словесный стол”. Жалованье полагалось по усмотрению начальства, и начальство благодарассудило назначить его Островскому в размере четырех рублей в месяц, – меньше, чем полагалось по табели – пять рублей шестьдесят две с половиной копейки. При таком вознаграждении Островский, разумеется, продолжал оставаться в полной материальной зависимости от отца. Единственным ценным приобретением, какое он мог извлечь из своей службы, было все то же изучение московского мещанского и купеческого быта. Заседая в “словесном столе”, Островский должен был знакомиться с делами о торговой несостоятельности, вникать во всевозможные хитроумные способы банкротства, до тонкости изучать купеческие обходы законов, уловки с кредиторами. Все это вскоре оказало ему великую услугу, снабдив неисчерпаемым запасом фактов и типов для художественного творчества. Отцовская адвокатская практика также принесла будущему писателю немалую пользу. Практика эта развивалась преимущественно среди московского купечества и шла с большим успехом. Островский-отец успел приобрести дом, содержал семью и давал средства старшему сыну.

Самая местность, где протекло детство и первая молодость Островского, вполне соответствовала его житейским опытам и наблюдениям. Сначала семья жила в Замоскворечье, потом в столь же захолустной и самобытной части города – у Николы в Воробьино. Обывателей здесь окружала в полном смысле старозаветная Москва, почти не тронутая веяниями европейских порядков. Пустынные улицы, патриархальная жизнь в домиках-особняках, без всякого замысловатого комфорта, без звонков и швейцаров. Охрана обывательского имущества поручалась будочникам, совершенно идиллически смотревшим на свои обязанности;

и сами обыватели прекрасно уживались со своими первобытными стражами, не предъявляя непосильных запросов их бдительности и усердию.

Дом Островского стоял среди пустыря, по соседству со знаменитыми в старину серебряными торговыми банями. Местность была до такой степени уединенна, а нравы – просты и откровенны, что из окон жилища Островского можно было видеть самые смелые бытовые картины: из бани выскакивали люди, только что запарившиеся до одурения, и принимались валяться в снегу. Против дома находилась полицейская будка с беззубым полицейским стражем, обладателем неуклюжей допотопной алебарды, большим приятелем окрестных обывателей и великим любителем веселой компании и крепкого безмятежного сна.

Все это безвозвратно отошло в историю Москвы, и наш писатель застал все эти прелести вековой старины уже на закате. Новая жизнь надвигалась и на московские захолустья, в ближайшем будущем она грозила смести с лица земли ископаемых оригиналов, навсегда похоронить и простоту нравов, и патриархальность обывательского житья-бытья, и наивную беспечность “начальства”. Но пока историческая Москва еще жила, и для чуткого и талантливого Островского было немалым счастьем видеть собственными глазами почвенный московский быт. Художнику предстояло открыть русскому обществу новый мир отечественной действительности, еще не тронутый литературой, – и этот именно мир в течение целых лет открывал своему будущему бытописателю свои тайны, обогащал его ум непосредственными наблюдениями и, можно сказать, невольно толкал его на известный писательский путь. Сама жизнь, день за днем определявшая умственное развитие и практическую деятельность Островского, давала ему готовую программу художественного творчества, – и семена падали на благодатную почву.

Островский, по природе своей, обладал особенной чуткостью к фактам и психологии именно русской самобытной действительности. Национальные нравственные инстинкты составляли основу личности драматурга, и его взор отличался поразительной остротой и проницательностью всюду, где вопрос шел о современном или историческом народном быте. Принадлежа к сословию, искони близко стоявшему к народу, выросший на полной свободе, лицом к лицу с самой жизнью, не испытывавший никакого внешнего гнета и навязчивого обезличивающего руководства “старших” и чрезмерно усердных педагогов, – Островский прошел самую целесообразную подготовительную школу, какую только можно было представить для будущего литературного Колумба дореформенной купеческой и мещанской России.

ГЛАВА II. НАЧАЛО ЛИТЕРАТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Литературная деятельность Островского началась одновременно с казенной службой. Должностные обязанности не мешали ей. Начинаящий писатель вряд ли мог с особым усердием прилежать к канцелярской работе. Она интересовала его лишь настолько, насколько предоставляла материал для осуществления его психологических и художественных задач. Чиновничья служба являлась одним из путей, ведущих драматурга в заповедный мир “темного царства”, – и в этом отношении он воспользовался ею очень рано. По его словам, уже к осени 1846 года им было написано много сцен из купеческого быта, в общих чертах задумана целая комедия и даже набросаны некоторые ее сцены.

Содержание комедии имело непосредственную связь с канцелярскими опытами Островского как чиновника коммерческого суда и, разумеется, с его многочисленными наблюдениями московской жизни за пределами службы. Комедии предстояло носить название *Банкрот*. Впоследствии автор по разным причинам счел это название неудобным и заменил его пословицей – *Свои люди – сочтемся!* В том же 1846 году была написана небольшая пьеса *Семейная картина*. Это первое законченное драматическое произведение Островского, но не оно первым появилось в печати. 9 января 1847 года в газете “Московский городской листок” появился драматический отрывок под заглавием “Сцены из комедии “Несостоятельный должник” (Ожидание жениха)”. Над отрывком стояло: “Явление IV”, и заключалось в нем всего два явления. С незначительными поправками они вошли в окончательный вариант пьесы *Свои люди – сочтемся!* (первое и второе явления третьего акта). Сцены подписаны инициалами А. О. и Д. Г., следовательно, они принадлежали двум авторам – будущему знаменитому драматургу и его сотруднику, артисту московской драматической сцены Дмитрию Тарасенкову, по театру – Гореву.

До сотрудничества с Островским Горев успел написать и напечатать драму “Государь-избавитель” и, несколько лет спустя, комедию “Сплошь да рядом”. Обе пьесы отнюдь не блистали талантом, в настоящее время совершенно забыты и остались только как красноречивое свидетельство того несомненного факта, что Горев не мог оказать Островскому как писателю ценных услуг. Но Горев и ценители его таланта смотрели на дело совершенно иначе, и Островскому пришлось жестоко поплатиться за мимолетную литературную дружбу с притязательным драматургом. Расплата наступила не тотчас после появления имени Островского в печати. Молодого писателя уже окружала громкая слава, он имел восторженных ценителей своего таланта, ему видимо предстояло занять одно из самых видных мест в современной литературе, – и в это именно время ему пришлось вести в высшей степени досадную полемику, отвоевывать свои права на свои же произведения. Это произошло девять лет спустя после злополучной авторской подписи под фельетоном “Московского городского листка”, пока же Островскому предстояло одолевать другие препятствия на своем только что открывшемся писательском пути.

Месяц с небольшим спустя после напечатания “Сцен...” наступил “самый памятный день” в жизни Островского. Так сам писатель называл 14 февраля 1847 года. В этот день он был в гостях у профессора русской словесности Шевырева. Познакомился Островский с профессором, вероятно, через своего гимназического товарища, учившего детей Шевырева. В знаменательный вечер у профессора собралось немало именитых гостей, – среди них знаменитый славянофильский публицист и философ А. С. Хомяков, талантливый критик А. А. Григорьев. В присутствии их Островский прочитал свои драматические сцены.

Шевырев помимо чтения лекций в университете писал критические статьи и в ученом и солидном обществе считался главным представителем литературной критики. От его впечатления зависел первый успех молодого драматурга. Его отзыв мог или окрылить автора,

или в сильной степени охладить жажду писательской деятельности. Приговор Шевырева не мог иметь решающего значения для всего будущего Островского, но именно в Москве в конце сороковых годов и начале пятидесятых слово профессора обладало большим литературным авторитетом и практическим значением. Оно могло открыть или преградить начинающему драматургу путь к страницам единственного московского журнала – “Москвитянина”. Журнал издавался под редакцией профессора русской истории Погодина и при ближайшем и усерднейшем участии Шевырева, наполнявшего своими статьями весь критический отдел. Очевидно, похвала или порицание ученого критика решали вопрос о правах литературного гражданства сотрудника “Городского листка”. Решение оказалось вполне благоприятным, и именно оно сделало для Островского 14 февраля самым памятным днем жизни.

Шевырев, выслушав чтение, пришел в восторг, обнял автора и приветствовал его как писателя, одаренного громадным талантом и призванного писать для отечественного театра.

“С этого дня, – рассказывает Островский, – я стал считать себя русским писателем и уже без сомнений и колебаний поверил в свое призвание”.

Мы не знаем, какие драматические сцены читал Островский у Шевырева, – можно предполагать, что это была пьеса *Картина семейного счастья*. Ровно месяц спустя после достопамятного дня она появилась в том же “Московском городском листке” за подписью А. О. И эта пьеса впоследствии вызвала печатную полемику касательно вопроса, насколько она принадлежит Островскому. Наконец, в той же газете и в том же году Островский напечатал первое и последнее свое произведение в недраматической форме – *Записки замоскворецкого жителя*. Они появились в трех номерах газеты, от 3 июня до 5-го, под ними не стояло никакой подписи, но подзаголовок сообщал, что новое произведение принадлежит автору Картины семейного счастья. Записки ни разу не перепечатывались и не вошли в полное собрание сочинений Островского, – между тем они представляют большой интерес в истории развития авторского таланта и в обращении к читателям заключают любопытную характеристику того оригинального мира, которому предстояло многие годы вдохновлять творческий гений драматурга.

Автор сообщал, что 1 апреля 1847 года он нашел рукопись. Она “проливает свет на страну, никому до сего времени в подробности не известную и никем еще из путешественников не описанную. До сих пор известно было только положение и имя той страны; что же касается до обитателей ея, т. е. образа их жизни, языка, нравов, обычаев, степени образованности, – все это было покрыто мраком неизвестности”.

До сих пор знали только, что страна эта лежит прямо против Кремля, по ту сторону Москвы-реки, отчего и называется *Замоскворечьем*. Но, спешит прибавить автор, наименование это некоторые ученые производят также от слова “скворец”, так как жители страны питают большое пристрастие к этой птице и делают для нее особого рода гнезда, называемые скворечницами. Но дальше сведения даже ученых не идут.

“Остановится ли путник на высоте кремлевской, привлеченный неописанной красотой Москвы, – и он глядит на Замоскворечье, как на волшебный мир, населенный сказочными героями “Тысячи и одной ночи”. Таинственность, как туман, расстилалась над Замоскворечьем; сквозь этот туман, правда, доносились до нас кое-какие слухи об этом Замоскворечьи, но они так сбивчивы, неясны и, можно сказать, неправдоподобны, что ни один еще благомыслящий человек не мог из них составить себе сколько-нибудь удовлетворительного понятия о Замоскворечьи”.

И автор приводит пример странных слухов, распространенных в публике насчет редкостей и чудес неисследованной страны. Найденная рукопись – правдивый рассказ о Замоскворечьи, и автор намерен извлечь из своей находки ряд замоскворецких очерков, – пока же предлагает вниманию публики один, под заглавием *Иван Ерофеич*.

Это история бедного приказного, обывателя с Зацепы, в высшей степени скорбная, – история гибели человека. Сам Иван Ерофеич бедствия свои объясняет весьма красноречивым соображением, не лишенным значения и для настроений нашего молодого автора. “Гибну я оттого, – говорит несчастный герой, – что не знал я счастья семейной жизни, что не нашел я за Москвой-рекой женщины, которая бы любила меня так, как я мог любить. Оттого я гибну, что не знал я великого влияния женщины, этой росы небесной”.

Краткий рассказ о судьбе Ивана Ерофеича дает автору возможность показать целую галерею замоскворецких портретов, начиная с “купца-русака” и кончая мелкими чиновниками. Очевидно, у автора набрался обильный материал из жизни и нравов Замоскворечья. Чрезвычайно яркая характеристика лиц и будничной обстановки, уверенность рисунка и выпуклость отдельных штрихов свидетельствовали о близкой личной осведомленности автора в предмете. В неведомой доселе стране он был как у себя дома, и “рукопись” вполне оправдывала предисловие: реальнее и правдивее трудно было изобразить заброшенное, “потерянное” житье-бытье невзрачных замоскворецких обывателей, – и в небольшом отрывке мы встречаем первые художественные наброски многочисленных типов, составивших впоследствии славу драматурга.

Столь блестящий и оригинальный талант, сказавшийся с самого начала, должен был обратить на себя внимание всех, кто только следил за явлениями современной литературы. Личность нового писателя неминуемо должна была стать центром целого кружка людей, так или иначе причастных литературе, – писателей, артистов и просто любителей отечественного слова.

Еще до чтения сцен в доме Шевырева Островский был знаком с писателями. Восторженный отзыв известного профессора и критика поднимал популярность начинающего драматурга и расширял общество людей, заинтересованных его талантом. И одним из важнейших фактов в жизни Островского следует признать чрезвычайно разнообразный и обширный круг знакомств, встретивший и сопровождавший его первые писательские шаги. Выросший в тесном общении с современной ему народной жизнью, Островский и писать начал среди все тех же настойчивых напоминаний действительности, которая не переставала внушать ему свою правду и силу, – был ли он чиновником, сидел ли в канцелярии коммерческого суда или находился в оживленной компании друзей и сочувственников своего таланта.

Ему всюду представлялась обильная жатва для самобытного творчества, – досуг и дело служили одной и той же цели – обогащению и совершенствованию литературного дарования.

ГЛАВА III. ДРУЗЬЯ И ВДОХНОВИТЕЛИ ОСТРОВСКОГО

Знакомые Островского, одинаково нужные для него, принадлежали к двум обществам, – и связующим звеном между ними являлась личность молодого писателя. Он не был исключительно книжным человеком, он начал самостоятельную жизнь с практической деятельности, и это счастливое обстоятельство благотворно отразилось на его писательских опытах. По семейным традициям и по роду своей службы Островский беспрестанно сталкивался с великим множеством простых русских людей, “русаков”, как он сам выражался в своей замоскворецкой повести, – и в то же время по образованию и таланту принадлежал интеллигенции, был одним из самых блестящих украшений литературного московского мира. Отсюда – чрезвычайно пестрая толпа “хороших”, “душевных” людей, окружавшая Островского на первых порах его литературной деятельности.

Местом свиданий приятельского кружка служил трактир Турина, собственно, одно из его отделений, весьма известное в прошлом московской литературной жизни, – “Печкинская кофейня”. Здесь собирались студенты, писатели, торговцы и просто любители веселой интересной беседы и в особенности русской песни. Среди “русаков” выделялся Иван Иванович Шанин – торговец из ильинских рядов.

Островский весьма многое позаимствовал у этого оригинального, богато одаренного “простого человека”. Шанин отличался редким остроумием, был мастер на бойкую меткую речь, поражал находчивостью, когда надо было дать яркую характеристику лица или бытового явления. Некоторые рассказы и оригинальные выражения Шанина навсегда врезались в память слушателей. Он посвящал своих приятелей в многообразные тайны гостинодворских дельцов, забавно и талантливо объяснял, как московские купцы “обдeldывают” иногородних обывателей, ловко сбывают им гнилье и лежалый товар. Из бесед того же Шанина наш кружок друзей и в том числе Островский узнали об одном из распространеннейших замоскворецких типов – о “купеческом брате”, жертве загула и пагубных увлечений. Фигура Любима Торцова, следовательно, была навеяна рассказами бойкого и остроумного купчика. Немало попало в комедии Островского и отдельных блестящих чисто русских выражений, слетавших с языка Шанина в разгар приятельской беседы.

И Шанин был не одинок. В кружок входило еще человек пять молодежи – живой, веселой, искусной на разные затеи и замысловатые выходки. Приятелей называли компанией “оглашенных”, – но это прозвище отнюдь не следует понимать в унижительном смысле. Все молодые люди были заняты каким-нибудь делом, служили, торговали, учились, и всех их объединяло общее чувство восторга перед новым литературным талантом. В приятельской беседе веселье било ключом, смех не умолкал, крылатые слова летели вихрем, каждый старался блеснуть своим искусством – рассказать историю, изобразить в лицах героя или героиню “неведомой страны”, именуемой Замоскворечьем.

С поразительной артистической верностью изображалась, например, молящаяся старуха. Молитве ее мешает собака, она теребит старуху за подол и намеревается укусить за ногу. Старуха ворчит, собака лает, старуха отмахивается и продолжает в то же время свою молитву. Сцена кончается торжеством собаки, она кусает старуху, та ее бьет, поднимается вой, крик, – и все это одновременно воспроизводится артистом – к единодушному восторгу публики.

Среди этой публики присутствует Писемский, впоследствии знаменитый писатель, тогда же – простодушный, по-детски смешливый наблюдатель. Он надолго запомнит лицедейские упражнения приятелей и перенесет их в свой роман “Сороковые годы”. Может быть

даже с большим восторгом, чем следовало, он опишет забавные представления молодежи, окружавшей Островского. Артист, неподражаемо изображавший сцену с молящейся старухой и собакой, столь же искусно, вместе с другим таким же художником, воспроизводил голоса животных, целого стада. Именно герои Писемского подвизаются в подобного рода искусстве, и автор устами главного действующего лица своего романа восклицает: “Да, это смех – настоящий, честный, добрый”.

Компания не только сама жила полной, веселой и возбуждающей жизнью, – она вносила ее всюду, где только являлась, побуждала других к меткости и остроте выражений, создавала, одним словом, все ту же своеобразную вдохновляющую атмосферу, какую питался наш молодой талант. Пьесы Островского переполнены сильными, краткими, озарывающими определениями явлений и личностей, – он первым внес этот колорит в русскую литературу. Языковое богатство само плыло в его руки, чуть не ежедневно он мог собирать перлы, вращаясь в кругу “русаков” и дыша почвенным московским воздухом. Вот один пример, вполне знакомящий нас с сутью дела.

В банях у Каменного моста обретался банщик Иван Миropyч Антонов, человек маленького роста, говоривший фальцетом и отборными книжными словами. Случилось в банях мыться тому самому артисту, который так искусно изображал молитву старухи и голоса животных. Вбегая в раздевальную, он заржал жеребенком. Иван Миropyч заметил, что юноша “малодушеством занимается”, – Островский не преминул воспользоваться этим изречением.

И, несомненно, таково происхождение многих крылатых слов, столь обильно рассеянных в пьесах Островского.

Немалую лепту внесла в его творчество и подруга молодой жизни писателя, Агафья Ивановна. Она была простого происхождения, не отличалась красотой, не получила образования, но обладала большой душевной привлекательностью, недюжинным умом и сильным характером. Она сумела внушить приятелям Островского уважение и любовь, и они в шутку сравнивали ее с Марфой-Посадницей, – действительно, от нее исключительно зависел порядок скудного хозяйства Островского. При самых ограниченных средствах она умела создать довольство и всегда имела чем угостить друзей хозяина. Беседа их не обходилась без ее участия, и участие было – деятельное. Агафья Ивановна обладала прекрасным голосом, знала очень много русских песен и превосходно их пела. Она была драгоценным членом общества, оказала немалую услугу Островскому как писателю. Купеческий быт Агафья Ивановна знала до тонкости, глубоко понимала обычаи и нравы таинственного замоскворецкого царства. Островский внимательно прислушивался к ее суждениям, высоко ценил ее советы и многое исправлял в своих пьесах по ее приговору. Свидетели ранней литературной деятельности Островского приписывают Агафье Ивановне большую долю участия в комедии *Свои люди – сочтемся!* – особенно в том, что касается ее содержания и внешней обстановки. Вообще, по всем данным, Агафья Ивановна представляется личностью незаурядной, привлекательной и интересной. Друзья Островского навсегда сохранили о ней самые лестные воспоминания.

Таковы чисто русские самобытные влияния, пережитые Островским – автором первых произведений из замоскворецкого быта. Но рядом с “русаками” писателя окружали люди другого круга – артисты, студенты, литераторы. Между этими, по-видимому, довольно различными и пестрыми элементами связующим звеном была всех одинаково горячо одушевлявшая любовь к русской народности, к народному творчеству, в особенности к русской народной песне.

Тот же Писемский сохранил яркое воспоминание об этом увлечении и даже перенес его в один из своих романов, “Взбаламученное море”. Здесь описывается очень живая сцена, очевидно, беспрестанно повторявшаяся в студенческом трактире “Британия”.

...Среди шума и оживленных бесед мгновенно все смолкло.

Тертиев поет, – воскликнул студент и, перескочив через голову другого студента, убежал. Другие устремились за ним. В бильярдной они увидели молодого белокурого студента, который, опершись на кий и подобрав высоко грудь, пел чистым тенором:

Кто бы, кто бы моему горю-горюшку помог.

Слушали его несколько студентов. Один из прибежавших на звуки песни шмыгнул с ногами на диван и превратился в олицетворённое блаженство.

В соседней комнате Кузьма, половой, прислонившись к притолоке, погрузился в глубокую задумчивость. Прочие половые также слушали. Многие из гостей-купцов не без удовольствия повернули свои уши к дверям. Пропетая песня сменилась другой:

*Уж ведут-ведут Ванюшу: руки-ноги скованы,
Буйная его головка да вся испроломана...*

Восторги слушателей не ослабевали. “За душу захватывала русская песня, – вспоминал потом Горбунов, – в натуральном исполнении Т. И. Филиппова”, – и именно этого певца изображает Писемский.

Русская песня в кружке Островского пользовалась исключительным почетом. Искусных певцов разыскивали по всем углам Москвы, не избегая грязных, шумливых трактиров и погребов. Сюда собирались доморожденные артисты, игравшие на разных инструментах, и о некоторых из них так вспоминает Т. И. Филиппов: “Николка-рыжий гитарист, Алексей с торбаном: водку запивал квасом, потому что никакой закуски желудок его не принимал. А был артист и “венгерку” на торбане играл так, что и до сих пор помню”.

Русская народная песня раздавалась не в одних трактирах и кабаках. Общеизвестный непобедимый артист Т. И. Филиппов перенес ее в литературные гостиные и даже в светские залы. Здесь восторг охватывал и самих хозяев, и их прислугу, часто плакавшую от умиления.

Островский разделял общее восхищение. Он и сам обладал очень красивым тенором, пел превосходно – правда не русские песни, а романсы. Ему очень льстили его успехи на этом поприще, и в ранней молодости он готов был гордиться ими по крайней мере не меньше, чем писательскими. Народная песня произвела на драматурга неотразимое впечатление. Под ее влиянием не только его художественный талант обогатился новыми мотивами творчества, но изменилось даже само мирозерцание Островского. Несомненным отражением народных песен явилась драма *Не так живи, как хочешь*. Островский очень долго и тщательно работал над этой пьесой, одушевляя ее поэтическим народным духом. Какое значение имела в этой работе народная поэзия, показывает первый набросок пьесы: он переполнен выражениями и целыми стихами, заимствованными из народных песен.

Но еще существеннее, конечно, вопрос о преобразовании мирозерцания молодого писателя, то есть видоизменении самой основы его литературной деятельности. Оно в высшей степени любопытно и составляет один из важнейших фактов всей жизни Островского.

ГЛАВА IV. МИРОСОЗЕРЦАНИЕ МОЛОДОГО ОСТРОВСКОГО

Отношение к драматургу славянофильской критики

Во время пребывания Островского в университете в литературе самой громкой и лестной славой было окружено имя Белинского и обширнейшим влиянием пользовался журнал, служивший ему трибуной, – “Отечественные записки”. В романе Писемского “Сороковые годы” студенты с особенной горячностью беседуют именно о Белинском, некоторые из них знают его статьи наизусть, – вообще идеи и талант знаменитого критика стоят на очереди дня. Островский не мог миновать столь широкого и сильного течения. Он также усердный читатель “Отечественных записок”, и следовательно, весь принадлежит западническому направлению. Он увлекается западничеством до последней крайности, уверяет, что ему даже противен вид Кремля с соборами.

– Для чего здесь настроены эти пагоды? – однажды задал он вопрос своему приятелю, певцу русских песен.

Но эта крайность не могла оставаться прочной. Островский еще не имел вполне определившихся убеждений, он просто поддавался более распространенному и сильному направлению идей. И нетрудно было догадаться, что именно западничество менее всего соответствовало природе и таланту Островского. Все прирожденные сочувствия влекли его к русской коренной почве, всеми силами души он был связан с Москвой и ее бытом. Презрение к Московскому Кремлю звучало в его устах по меньшей мере странно и неожиданно и, очевидно, являлось плодом внешних веяний. Стоило веяниям перемениться, стоило попасть Островскому в круг людей, более родственных по своим взглядам его собственным естественным влечениям, – и западнические крайности без особенных затруднений могли перейти в противоположные.

Надо помнить, Островский – натура чисто художественная, а не публицистическая. В таких натурах убеждения создаются не столько логическим процессом мысли, сколько впечатлением, чувством и воображением. И очевидец совершенно правильно замечает, что народная песня в кружке Островского была “главною силой, которая постепенно слагала, вырабатывала и выясняла основы мирозерцания молодых друзей”. Это *поэтическое* внушение возымело особенное действие на Островского, и вскоре после его западнических увлечений мы слышим от одного из самых близких его друзей: русское направление, воспринятое Островским, доходило у него иногда даже до крайностей. Островский уже не мог равнодушно слушать отзывы и толки западнического лагеря, они оскорбляли его самолюбие, затрагивали его лично и усиливали враждебное отношение к столь недавно еще обожаемому направлению.

Не одна, конечно, народная песня совершила в нем подобную перемену. Вся атмосфера, которою дышал молодой писатель, располагала его именно к русскому направлению. Его окружали яркие национальные таланты, на молодую впечатлительную душу сильно воздействовали оригинальные русские натуры, – а все эти семена падали на крайне благоприятную, самой природой подготовленную почву. Но, несмотря на некоторую категоричность суждений, свойственную Островскому, примкнувшему к новому направлению, не следует думать, будто он стал решительным, непримиримым врагом западников. Такая резкость и прямолинейность не соответствовали бы самому художественному строю, самой природе нашего писателя. Он был одинаково далек как от славянофильской сектантской

исключительности, так и от слепых восторгов противоположного лагеря перед западноевропейской цивилизацией. Здравый смысл и глубокое национальное чувство – главные основы мирозерцания Островского. Всякий отвлеченный фанатизм был ему совершенно чужд, и впоследствии, в качестве директора театров, он будет усердно заботиться о появлении на русской сцене образцовых произведений западной драматической литературы, будет переводить испанских и итальянских драматургов и мечтать о полном переводе Мольера. Все это, по мнению Островского, не могло мешать национальному развитию русской сцены.

Впрочем, в начале своей литературной деятельности он мог принять за личное оскорбление даже тот или иной отзыв западника о русской истории и русской действительности, – но временные огорчения не вызывали у него желания порвать все связи с западниками. Он охотно отзывается на их приглашения, например прочесть для них свою пьесу, посещает западнический салон графини Салиас, писавшей под именем Евгении Тур, и отнюдь не следует примеру своих ближайших приятелей, намеренно избегавших противного лагеря. Он далек также и от чисто внешних славянофильских увлечений своих друзей, не переодевается в мужицкое платье, не тоскует о длинной национальной бороде; вообще – он не утрачивает ни на минуту здравого смысла и спокойствия духа и идет ровно и спокойно своим путем правдивого, непосредственно-сильного художественного творчества.

Но именно эти качества и вызывают особенный восторг у славянофильских поклонников Островского. Вряд ли когда-либо какой русский писатель с первых же шагов своей деятельности возбуждал такое стремительное чувство любви, почти обожания. Он становится настоящим центральным светилом среди многочисленных литературных и артистических талантов. На него смотрят как на могучего представителя истинно русского искусства, как на единственную надежду национальной литературной сцены.

Среди восторженных ценителей таланта и личности Островского первое место определенно должно принадлежать Аполлону Григорьеву. Одаренный незаурядными литературными способностями, сильным художественным чувством, рыцарски обожавший литературу и искусство, Григорьев представлял собой пламенного, часто до самозабвения вдохновенного романтика на русской национальной почве. Личная жизнь выпала ему крайне неудачная, переполненная обманутыми надеждами, неосуществившимися мечтами и всякого рода лишениями. Слишком горячая, романтическая натура и. обилие жизненных испытаний беспрестанно мешали ясности и спокойствию критической работы Григорьева. Его трудно было ограничить строго определенными рамками правоверного литературного направления, – и Погодин приходил в оторопь от внезапных взрывов чисто поэтического вдохновения своего сотрудника, от его неукротимой умственной независимости, от его художественного равнодушия к общепризнанным уставам и обычаям славянофильского толка.

Но и Погодин не мог не признать, что Григорьев “много хорошего везде скажет с чувством”. Именно это “чувство” преимущественно и управляло восторгами и мыслями Григорьева. И все его силы целиком сосредоточились на Островском. Молодой драматург стал центром молодой редакции “Москвитянина”. Она, по замыслу самого Погодина, должна была обновить его журнал, вдохнуть в него свежую, юную жизнь и упрочить торжество славянофильской литературной и общественной веры.

Григорьев оставил нам воспоминания об этом невозвратном прошлом беспредельных надежд и истинно богатырских творческих замыслов.

Перед нами не простой рассказ, а страстная вдохновенная исповедь. Речь ведет не просто бывший сотрудник бывшего журнала, а предается воспоминаниям некий влюбленный, воскрешающий чарующие образы своих мечтаний. Он кратко и ясно определяет значение Островского в своей личной и писательской судьбе: “Явился Островский и около него как центра – кружок, в котором *нашлись* все мои дотоле смутные верования”. *Нашлись* – под-

черкивает сам автор, придавая, очевидно, исключительное значение самому факту встречи с Островским и его друзьями.

Очевидец описывает нам и саму сцену, с которой началось нравственное просветление Григорьева, – сцену столь же редкостного характера, как и вся история отношений Григорьева к Островскому.

Однажды у Островского был большой литературный вечер, присутствовали представители всех литературных направлений. Когда большинство гостей разошлось и остались только близкие Островскому люди, Филиппова попросили спеть. Певец, по обыкновению, произвел на всех сильное впечатление, в особенности на Григорьева. Он упал на колени и просил кружок принять и его в число своих ближайших членов. В порыве восхищения и мольбы он заявлял, что до сих пор всюду и тщетно искал правды и нашел ее наконец в среде друзей Островского; и он был бы счастлив, если бы ему позволили здесь бросить якорь.

Островский стал для Григорьева пророком *нового слова*, единственным полным выразителем его мирозерцания. Григорьев не умел определить, кто он – западник или славянофил, знал только, что существует один человек, с ним у него “*все общее*”. Только он может сказать вещее слово и действительно скажет его.

Эти восторги Григорьев перенесет и в свои статьи, примется даже в стихах воспевать талант обожаемого драматурга, посвятит целую оду Любиму Торцову как воплощению “русской чистой души”, – вообще Григорьев до конца дней своих останется пламенным распро странителем *веры Островского*. И нашего писателя следует считать душой и средоточием молодой редакции погодинского журнала. Такую роль определил ему сам Погодин, задумывая обновление своего издания и отводя в нем место современной даровитой молодежи русского направления.

ГЛАВА V. ПЕРВАЯ КОМЕДИЯ

Островский очень долго работал над первой своей комедией. *Банкрот* писался и исправлялся около четырех лет. Еще в 1846 году план пьесы был совершенно готов и точно определено развитие действия, – целые годы ушли на обработку частных деталей. Только в 1849 году пьеса была закончена. Островский имел уже многочисленные знакомства среди литераторов, мы знаем – его успел оценить и соредактор Погодина Шевырев. Слухи о молодом таланте дошли, наконец, и до издателя “Москвитянина”, – но слухи очень смутные и не вполне верные. Профессор, обитавший на Девичьем поле и погруженный в “пыль веков” своего “Древлехранилища”, поздно и случайно узнавал о событиях современной живой литературы, и теперь он обращался за сведениями к Шевыреву. “Есть какой-то Островский, – писал он, – который хорошо пишет в легком роде, как я слышал”. Погодин предполагал собрать более точные данные у учителя детей Шевырева, товарища Островского, и “спросить” у новоявленного писателя “его трудов”: “Я посмотрел бы их и потом объявил бы свои условия”.

Все остальное образованное московское общество обнаружило гораздо больше энтузиазма и любопытства по отношению к молодому писателю. Едва по городу разнеслись слухи о том, что комедия окончена, – на Островского посыпались приглашения прочитать ее в избранных кружках. Первое чтение состоялось у Каткова – в присутствии некоторых западников. Впечатление превзошло все ожидания, тем более что искусство Островского как чтеца стояло на уровне его авторского таланта.

Читал он медленно, чрезвычайно тщательно оттеняя каждую фразу, будто прислушиваясь к ней и взвешивая каждое выражение. Слушатели самых разнородных общественных слоев единодушно подчинялись обаянию чтеца: так он умел захватить, заморозить – одновременно и литераторов, и аристократов, и серую купеческую толпу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.